

Иван Иванович Лажечников

Ледяной дом

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-311.6

ББК 84-4

Иван Иванович Лажечников

Ледяной дом / Иван Иванович Лажечников – М.: Книга по Требованию, 2011. – 212 с.

ISBN 978-5-4241-2358-0

И.И. Лажечников (1792–1869) – один из лучших наших исторических романистов. А.С. Пушкин так сказал о романе «Ледяной дом»: «...поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Обаяние Лажечникова – в его личном переживании истории и в удивительной точности, с которой писатель воссоздает атмосферу исследуемых эпох. Увлечательность повествования принесла ему славу «отечественного Вальтера Скотта» у современников.

ISBN 978-5-4241-2358-0

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

ИВАН ЛАЖЕЧНИКОВ
ЛЕДЯНОЙ ДОМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I СМОТР

*Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!*
Пушкин
Поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовью, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц
томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные
ночи,
Все вместе ожило; и сердце
понеслось
Далече...
Он же

Боже мой! Что за шум, что за веселье на дворе у кабинет-министра и обер-гермейстера Волынского? Бывало, при блаженной памяти Петре Великом не сделали бы такого вопроса, потому что веселье не считалось диковинкой. Грозен был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. Тогда при дворе и в народе тешились без оглядки. А ныне, хоть мы только и в четвертом дне Святка (заметьте, 1739 года), ныне весь Петербург молчит тишиною келий, где осужденный на затворничество читает и молитвы свои шепотом. После того как не спросить, что за разгулье в одном доме Волынского?

Только что умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни, все богомольцы, поодиночке, много по двое, идут домой, молча, поникнув головою. Разговаривать на улицах не смеют: сейчас налетит подслушник, переведет беседу по-своему, прибавит, убавит, и, того гляди, собеседники отправляются в полицию, оттуда и подалее, соболей ловить или в школу заплочного мастера. Вот, сказали мы, идет народ домой из церквей, грустный, скучный, как с похорон; а в одном углу Петербурга тешатся себе нараспашку и шумят до того, что в ушах трещит. Вскипает и переливается пестрая толпа на дворе. Каких одежд и наречий тут нет? Конечно, все народы, обитающие в России, прислали сюда по чете своих представителей. Чу! да вот и белорусец усердно надувает волынку, жид смычком разогревает цимбалы, казак пощипывает кобзу; вот и пляшут и поют, несмотря что мороз захватывает дыхание и костенит пальцы. Ужасный медведь, ходя на привязи кругом столба и роя снег от досады, ревом своим вторит музыкантам. Настоящий шабаш сатаны!

Православные, идущие мимо этой бесовской потехи, плюньте и перекреститесь! Но мы, грешные, войдем на двор к Волынскому, продеремся сквозь толпу и узнаем в самом доме причину такого разгульного смещения языков.

— Мордвы! чухонцы! татары! камчадалы! и так далее... — выкликает из толпы по чете представителей народных великий, превеликий или, лучше сказать, превысокий кто-то. Этот кто-то, которого за рост можно бы показывать на

Масленице в балагане, – гайдук его превосходительства. Он поместился в сенях, танцую невольно под шипок мороза и частенько надувая себе в пальцы песню проклятия всем барским затеям. Голос великана подобен звуку морской трубы; на зов его с трепетом является по порядку требуемая чета. Долой с нее овчинные тулупы, и национальность показывается во всей красоте своей. Тут, не слишком учтиво, оттирает он сукном рукава своего иному или иной побелевшую от мороза щеку или нос и, отряхнув каждого, сдает двум скороходам. Эти ожидают своих жертв на первой ступени лестницы, приставив серебряные булавы свои к каменным, узорочным перилам. Легкие, как Меркурии, они подхватывают чету и с нею то мчатся вверх по лестнице, так что едва можно успеть за красивым панашом, веющим на их голове, и за лоснящимся отливом их шелковых чулок, то пинками указывают дорогу неуклюжим восприемышам своим. Говоря о скороходах, не могу не вспомнить слов моей няньки, которая некогда, при рассказе о золотой старине, изъясняла сожаление, что мода на бегунов-людей заменилась модою на рысаков и иноходцев. «Подлинно чудо были эти скороходы, – говорила старушка, – не знали одышки, оттого-де, что легкие у них вытравлены были зелями. А одежда, одежда, мое дитятко, вся, как жар, горела; на голове шапочка, золотом шитая, словно с крыльями; в руке волшебная тросточка с серебряным набалдашником: махнет ею раз, другой, и версты не бывало!» Но я с старушкою заговорился. Возвратимся в верхние сени Волынского. Здесь *маршалок*¹ рассматривает чету, как близорукий мелкую печать, оправляет ее, двумя пальцами легонько снимает с нее пушок, снежинку, одним словом все, что лишнее в барских палатах, и, наконец, провозглашает ставленников из разных народов. Дверь настежь, и возглас его повторяется в передней. Боже мой! опять смотр. Да будет ли конец? Сейчас. Вот кастелян и кастелянша, оглядев набело пару и объяснив ей словами и движениями, что она должна делать, ведет ее в ближнюю комнату. Фаланга слуг, напудренная, в ливрейных кафтанах, в шелковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, дает ей место. И вот бедная чета, волшебным жезлом могучей прихоти перенесенная из глуши России от богов и семейства своего, из хаты или юрты, в Петербург, в круг полтора-два пар, из которых нет одной, совершенно похожей на другую одеждою и едва ли языком; перенесенная в новый мир через разные роды мытарств, не зная, для чего все это делается, засученная, обезумленная, является, наконец, в зале вельможи перед суд его.

Пара входит на лестницу, другая пара опускается, и в этом беспрестанном приливе и отливе редкая волна, встав упрямо на дыбы, противится на миг силе ветра, ее стремящей; в этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека.

Было б чему и нашим современникам подивиться в зале вельможи! Глубокие окна, наподобие камер-обскуры, обделанные затейливыми барельефами разных цветов, колонны по стенам, увитые виноградными кистями, огромные печи из пестрых изразцов, с китайскою живописью и столбиками, с вазами, с фарфоровыми пастушками, похожими на маркизов, и маркизами, похожими на пастушков, с китайскими куклами, узорочные выводы штукатуркою на потолке и посреди его огромные стеклянные люстры, в которых грань разыгрывается необыкновенным блеском: на все это и нам можно бы полюбоваться. Бедные дикари не знают, где стать, чтобы не ступить на собственную фигуру, отражающуюся в наложен-

ном штучном полу. Смешно видеть, как и наши простодушные предки, входя в залу вельможи, принимают картины в золотых рамках за иконы и творят пред ними набожно крестные знамения.

Посреди залы, в богатых креслах, сидит статный мужчина, привлекательной наружности, в шелковом светло-фиолетовом кафтане французского покроя. Это хозяин дома, Артемий Петрович Волынский. Он слышит при дворе и в народе одним из красивейших мужчин. По наружности можно дать ему лет тридцать с небольшим, хотя он гораздо старше. Огонь черных глаз его имеет такую силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои. Даже замужние, бойкие женщины приходят от них в смущение; пригожим девицам мамки, отпуская их с крестным знамением на куртаги,² строго наказывают беречься пуше огня глаза Волынского, от которого, говорят они, погибла не одна их сестра.

Из-за высокой спинки кресел видна черная, лоснящаяся голова, обвитая белоснежною чалмою, как будто для того, чтобы придать еще более достоинства ее редкой черноте. Можно бы почесть ее за голову куклы, так она неподвижна, если бы в физиономии араба не выливалась душа возвышенно-добрая и глаза не блистали то негодованием, то жалостью при виде страданий или неволи ближнего.

В нескольких шагах от Волынского, по правую его сторону, сидит за письменным столом человек, которого всего можно бы спрятать в медвежью муфту. Лицо его в кулак стянуто, как у старой обезьяны; на нем видно и лукавство этого рода животных. Он ужимист в своих движениях, уступчив или увертлив в речах, глаза и уши его всегда на страже. Ни одна исправная гауптвахта не успевает так скоро отдавать честь, как он готов на все ответы. Эта маленькая каракулка, ученая, мудреная и уродливая, как гиероглиф, – секретарь кабинет-министра, Зуда. Он записывает имена и прозвания лиц, являющихся на смотр, замечания, долетающие к нему с высоты кресел, и собственные свои. Чего Волынской не договаривает, то он дополняет.

В отдалении, почти у двери передней, стоит молодой человек. По одежде он не солдат, не офицер, хотя и в мундире; наружность его, пошлую, оклейменную с ног до головы штемпелями нижайшего раба, вы не согласились бы взять за все богатства мира. Чего в ней нет? И глупость, и разврат, и низость. Один свинцовый нос – достаточный изыскатель подвигов, совершенных его обладателем, и указатель пути, по коему он идет. Это Ферапонт Подачкин, вольноотпущенный Волынского и в должности пристава. Ему-то поручено было доставить в Петербург из Твери сто разноплеменных пар, собранных там с разных мест России, – доставить живьем и незапятнанных морозом. По какой же *протекции* получил он столь важный *пост*? Мать его – *барская барыня* в доме кабинет-министра. Она спала и видала, чтобы произвести своего сынка в офицеры, то есть в такие люди, которые могут иметь *своих* людей: высшая степень честолюбия подобного класса и образования женщин! Волынской, хотя человек умный и благородный, имел слабость не отказать в просьбе Подачкиной, помня старые заслуги мужа ее, бывшего его дядьки: за исправное, честное и усердное исполнение порученного Ферапонту дела обещан ему первый офицерский чин. А там, кто ведает, на какую высоту полез бы он, открыв себе ключом четырнадцатого класса врата в капище почестей! Надо заметить, что в тогдашнее время не нуждались в аттестате на чин коллежского асессора, – о, ох! этот уже аттестат! И вот Ферапонт, по батюшке

Авксентиевич, близок уже к своей цели. Еще один шаг, одно барское спасибо – и новое ваше благородие в России. Участь его должна решиться на сегодняшнем смотру: или дворянское достоинство, или палки на спину. Он теперь необыкновенно низко повесил голову – признак, что дух его встревожен и он ожидает невзгоды за какую-либо неудачу или промах.

Сравните белое лицо кандидата в благородия и черное лицо невольника: как-жестя, они поменялись своими назначениями. Где ж маменька ужасного честолюбца? – Видите ли направо, у дверей буфета, эту пиковую даму, эту мумию, повязанную темно-коричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвета? Она неподвижна своим туловищем, вытянутым, как жердь, хотя голова ее трясется, вероятно от употребления в давнопрошедшие времена сильного притирания; морщиноватые кисти рук ее, убежавшие на четверть от рукавов, сложены крестообразно, как у покойника; веками она беспрестанно хлопает и мигает, и если их останавливает, то для того, чтобы взглянуть на свое создание, на свое сокровище, на свою славу. Прошу хорошенько заметить: это она, дражайшая родительница драгоценного дитятки.

Мы сказали уже, что Подачкина (по имени и отчеству Акулина Саввишна) – *барская барыня*. Это звание в старину было весьма важное: в него избирались обыкновенно жены заслуженного камердинера, дворецкого, дядьки и тому подобной почетной дворни. Она присутствовала при туалете госпожи своей, заведовала ее гардеробом, служила ей домашними газетами, нередко докладчицею по тайным делам мужниной половины, и играла во дворе *своем* посредническую роль между властителями и слугами. Заметьте, она – *барыня*, но только *барская*... Придумать это звание могла лишь феодальная спесь наших вельмож тогдашнего времени. Впоследствии и мелкие дворяне завели у себя такое должностное лицо. Еще и ныне в степной глуши звучит иногда имя барской барыни, но потеряло уже свое сильное значение.

Ни одного шута, ни одной дуры и дурочки в зале! Уж по этому можно судить, что Вольинской, смело пренебрегая обычаями своего времени, опередил его.

– Как думаешь, Зуда? – сказал кабинет-министр, обращаясь с приметным удовольствием к секретарю своему. – Славный и смешной праздник дадим мы государыне!

– Об нем только и говорят в Петербурге, – отвечал секретарь, привстав немного со стула. – Думаю, что он долгое время занимать будет стоустую молву и захватит себе несколько страниц в истории.

Кабинет-министр дал знак головою, чтобы секретарь садился, и продолжал усмехаясь:

– Разве наш господин Тредьяковский удостоит сохранить его в своих виршах...

– О которых все столько кричат.

– Потому что их никто не понимает.

– Известно, однако ж, что ваше превосходительство с некоторого времени сделались самыми ревностными поклонниками нашего Феба и очень частенько изволите черпать в тайнике его.

– Ты хочешь сказать, с того времени, как милая молдаванская княжна стала учиться русскому языку. Да, бывший надутый школьник Тредьяковский, ныне Василий Кириллович, в глазах моих великий, неоцененный человек; я осыпал

бы его золотом: не он ли выучил Мариорицу первому слову, которое она сказала по-русски?.. И если бы ты знал, какое слово!.. В нем заключается красноречие всех твоих Демосфенов и Цицеронов, вся поэзия избранной братьи по Аполлону. Василия Кирилловича за него непременно в профессора элоквенции!³ Я ему это обещал и настою в своем слове.

Волынской говорил с особенным жаром; только слова: *молдаванская княжна, Мариорица*, старался он произнести так тихо, что, казалось ему, слышал их только секретарь. Этот, заметив, что лицо барской барыни, может быть поймавшей на лету несколько двусмысленных слов, подернуло кошачьею радостью, старался обратить разговор на другое.

– Слышно, что господин Тредьяковский, – сказал он, – действительно собирается описать подробно, в нескольких томах, праздник, который вам поручено устроить.

– Потянемся и мы с тобою, любезный, к потомству в веренице скоморохов. Завидная слава!.. Расхохотутся же наши внуки, а может быть, и пожмут плечами, читая в высокопарном слого, что кабинет-министр занимался шутовским праздником с таким же вниманием и страхом, как бы дело шло об устройстве государства.

– Разве, утешая этим больную владычицу севера, которая столько жалует вас, вы не творите полезного...

– Для одного курляндца... Посмотри, он еще затеет какие-нибудь торжества, игрища, все под видом неограниченной преданности к государыне; но для того только, чтобы меня занять и между действиями сыграть ловчее свои штуки...

Барская барыня сделала опять легкую гримасу; сын ее вытянул шею и силился что-то настигнуть в словах Волынского, но, за недостатком дара божьего, остался при своем недоумении, как глупый щенок хочет поймать на лету проворную муху, но щелкает только зубами. Зуда спешил наклониться к своему начальнику и шепнул ему:

– Осмотритесь! вы забыли уроки Махивеля...

Последнее слово, казалось, было условным паролем между кабинет-министром и секретарем. Первый замолчал; другой свел свои замечания на приходящих, которых разнообразие одежд, лиц и наречий имело такую занимательность, что действительно могло оковать всякое прихотливое внимание.

Вот статная, красивая девушка из Торжка, с жемчужным *венцом*, наподобие отсеченной сахарной головы; он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, *рязки* из крупного жемчуга, переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным; искусно заплетенная коса, роскошь русской девы,⁴ с блестящим бантом и лентою из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плеча свой парчовый полущубок, от которого левый рукав, по туместной моде, висит небрежно; из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность *новоторжеской* красоты. Богатая *фerezь* ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьянных черевичках, шитых золотом. Рядом с нею ее чичисбей – вы смеетесь? Да, таки чичисбей:⁵ горе тамошней девушке, если она его не имеет! Это знак, что она очень дурна: мать сгонит ее с белого света, подруги засмеют. Раз избранный, он неотлучен от нее на вечерних и ночных прогулках. Какой

молодец! Удаливость кипит в его глазах: зато он и слывет первым кулачным бойцом на поголовном новоторжском побоище. За ними – дородная мордовка в рубашке, испещренной по плечам, рукавам и подолу красною шерстью, как будто она исписана кровью; грудь ее отягчена серебряными монетами разной величины в несколько рядов; в ушах ее по шару из лебединого пуху, а под ним бреччат монеты, как бляхи на узде лошадиной. Вот человеческого лик, намалеванный белилами и румянами, с насурменными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сорокаведерная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шерстяные чулки выказывают ее пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют ее осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу. Далее миловидная, стройная казачка держится так, что хочет, кажется, пристукнуть медными подковками свою национальную пляску. Вот и калмык раззевает свои кротовые глазки, чтобы взглянуть на чудеса русские; с ним все житье-бытье его – колчан со стрелами и божки его, которых он из своих рук может казнить и награждать. Вот... Но всех занимательных лиц не перечесть на сцене.

Пары являлись и уходили попеременно, говорили мы. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния (заметьте) пригожих женщин, какого бы они племени ни были, и некоторых из них пригласил даже остаться в зале, чтобы погреться. Ласковое внимание знатного барина, которого наши прадеды почитали за полубога, и к тому ж барина пригожего, закигало приветливый огонь в глазах русских девушек и, как сказали бы тогдашние старушки, привораживало к нему. Мелькнуло еще несколько пар. Вдруг хозяин дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь; черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное, разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть; в глазах начали толпиться думы; наконец, облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивлялся, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко, даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах; действительно ли это был болезненный припадок, или прихоть вельможи, или срочная дань какому-то предчувствию, мы того сказать не можем. Все молчало в зале, боясь пошевелиться; казалось, все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою, на них набежавшею. Где были тогда думы Волынского? Куда перенесся он? Не играл ли беззаботно на родном пепелище среди товарищей детства; не бил ли оземь на пирушке осушенную чашу, заручая навеки душу свою другу одного вечера; не принимал ли из рук милой жены резвое, улыбающееся ему дитя, или, как тать, в ночной глуши, под дубинкой ревнивого мужа, перехватывал с уст красавицы поцелуй, раскаленный беснующимися восторгами? Зачем также не полагать, что он заседал в Кабинете, где бросал громы красноречия на ябеду и притеснения, или в дружеском кругу замышлял падение временщика? Кто знает, может статься, он грозно смотрел в очи палачу, когда тот поднимал на него секиру! Где были тогда думы Волынского, неизвестно нам; но, судя по характеру его, они могли быть везде, где мы дали им место. В его душе страсти добрые и худые, буйные и благородные владычествовали попеременно; все было в нем непостоянно, кроме чести и любви к отечеству.

Женатый лет с восемь на пригожей, милой женщине, он между тем искал, где только мог, любовных приключений, которые обращать в свою пользу был большой искусник. Впрочем, ничто не нарушало согласия четы. Сердце Волынского не знало постоянной страсти, а после мгновенной ветрености он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Ее душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, или он говорил, что жена его смотрела будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал. Лаская чужих, забывал, что они не его, и эта любовь к детям, соединяясь с мыслию, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным. С некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Волынской. В продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказам для поднесения своей госпоже; особенно один новый номер, по необыкновенной важности, требовал больших трудов для очистки.

Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных, и если б порывы пламенной души его не разрушали иногда созданий его ума, то Россия имела бы в нем одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, ученого, хитрого, осторожного, служившего ему секретарем и переводчиком, ментором и поверенным. Любя свое отечество выше всего, он тем с большим негодованием смотрел, как Бирон полосовал его бичом своим, и искал удобного случая, открыв все государыне, вырвать орудия казни из рук, которым она вверила только кормило своего государства. В то время, когда рабопенная чернь падала пред общим кумиром и лобызала холодный помост капища, обрызганный кровью жертв; когда железный уровень беспрестанно наводился над Россиею, один Волынской, с своими друзьями, не склонял пред ним благородного чела. Возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нем по делам государственным и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Бирон же, добываясь возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался обратить на него милости ее величества. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть.

Мы оставили нить нашей повести в зале Волынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность — он встрепенулся, поднял голову, заложил за уши черные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя, красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая, с орлиною пронизательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы б сказали: такого бравого мужчину желала своей дочери! Можно ли поверить? — кабинет-министр устыдился, что был застигнут в своем припадке взором цыганки, пристально на него устремленным! Однако ж это было так: он смутился, как будто пораженный чем-то.

– Чудесная игра природы!.. – воскликнул он, наконец, обращаясь к Зуде. – Замечаешь ли?

– Я видел... только раза три... и поражен необычным сходством, – отвечал секретарь, сощуриw лукаво свои глазки.

Во время этого переговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство; однако ж, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взорам кабинет-министра и секретаря его.

– Как тебя зовут? – спросил ее Волынской.

– Мариулой, – отвечала она.

– Даже имя!.. Диковина!.. Знаешь ли, Мариула, что лицо твое самое счастливое?

– Таланливо оно и тем, что полюбилось вашей милости.

– Останься здесь; я с тобою еще поговорю.

Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу и немного наклонившись, потом стала позади кресел вельможи, в некотором отдалении.

– Кто далее? – спросил Волынской.

Явилась малороссиянка, одна.

– Где ж пара ее? – был грозный вопрос Артемия Петровича. – Эй, Подачкин! Я тебя спрашиваю.

При этом вопросе свинцовый нос Подачкина побелел; матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дернули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть со дна их душ.

Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперед и, запинаясь, отвечал:

– Это пьяница, ваше превосходительство, презлой, и пресердитый, и преупрямый, ваше превосходительство...

– Так что ж? ты не мог его усмирить?

– Дорогой я уломал было его. Да под Санкт-Петербуром он начал огрызаться на меня, ваше превосходительство, мы уж и побаивались, что кусаться станет. Памятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки.

– Лжешь! тебе дана инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат: на это была собственная воля государыни.

– Божусь богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартары провалиться, колодки прелегкие, и коли позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев. А он ехал в них, да еще в крытой кибитке!

– Куда ж он теперь девался?

– Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр, и он невесть как пропал...

– Бездельник! Знаю все... я хотел только испытать тебя... ты продаешь меня фавориту... Гм! людей сбывают, как поганую кошку!.. люди пропадают среди бела дня! Но я отыщу, хотя б мертвого... хотя остатки вырву из волчьей пасти!.. Пора, пора и волка на псарню!

– Саввишна! – прибавил грозно Волынской, взглянув на барскую барыню, – полюбуешься подвигами своего сынка. Как думаешь, мало его повесить за такое дело!

Саввишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего